

Пролог

*Август 1866 г., Российская империя, Санкт-Петербург,
Новая деревня, что на Черной речке*

В увеселительном саду Излера вино текло рекой, звон гитар не умолкал ни на минуту, а прямо сейчас Роза глядела, как высоко, до самых небес, прыгают акробаты. Она плохо их видела: глаза застилала слезы. Вдруг справа огненным шаром взорвался фейерверк, и Роза вздрогнула. Золотые и серебряные искры еще долго осыпались под возгласы ликующей толпы.

А небо совсем черное — должно быть, уже за полночь. Роза огляделась в поисках кого-то из знакомых, чтобы спросить, который час, но никого так и не нашла. Все ее бросили. Все.

Муж, с которым месяц назад ее обвенчал лютеранский пастор, который клялся ей в любви и верности, который увез ее от отца и матери, — он первым и бросил. Сбежал с этой актрисой, с Журавлевой — Роза не сомневалась. Они исчезли нынче утром, оба, никого не предупредив, — какие тут могут быть сомнения? Тем более Шмуэль сам ей признавался, что прежде был в клятую Журавлеву влюблен, да она отказала ему. Теперь согласилась, должно быть...

От друзей же Шмуэля, у которых они остановились здесь, на дачах возле Черной речки, Роза другого и не ждала. Один стихоплет, второй художник. И оба политические разговоры каждый вечер заводят, ругают царя и превозно-

сят народников. Горячо обсуждают книжки Бакунина и во всем с ним соглашаются. Должно быть, по кабинетам уже заперлись с девицами, а про нее забыли. Все про нее забыли.

Глядя, как в ночном небе снова опадают золотые искры фейерверка, Роза вдруг совершенно четко осознала: она совершила ошибку. Огромную ошибку. Ошибку, которая будет стоить ей не только репутации... но и, скорее, жизни.

Роза уже не заботилась, что ее слезы кто-то увидит. Продираясь сквозь пьяную толпу, совсем не по-девичьи работая локтями, она выбиралась прочь, туда, где не слышно смеха и нет этих проклятых вспышек. Снова огляделась. Она бы жизнь сейчас отдала, чтобы к ней вышел Шмуэль. Она бы все ему простила тотчас! Но его не было. Только набережная над Черной речкой.

Выбрав участок у самых перил, где поменьше влюбленных парочек, Роза тяжело оперлась на кованую решетку и разрыдалась в голос. Никто не обратил внимания. Рыдающие девицы в увеселительном саду Излера — дело обычное, всем давно наскучившее.

А вода в реке и правда совершенно черная, густая. Смордная. Глебов, стихоплет, говорит, что в ней все городские сточные воды соединяются, оттого и прозвали так. Вязкая речка. Как варенье, которым маменька начиняет бейглы. Не суждено Розе больше увидеть ни маму, ни папеньку, ни братьев. И не сказать им, как сильно она ошиблась.

Роза перегнулась сильнее через кованую решетку, зажмурилась, готовая оттолкнуться туфелькой от мостовой. Хоть бы не помешал никто...

Глава 1

КОШКИН



*Сентябрь 1894 г., Российская империя, Санкт-Петербург,
Здание Департамента полиции*

Стук в дверь не застал Кошкина врасплох: он этого визита ждал. Тотчас подскочил со стула, оправил китель, пятерней пригладил соломенного цвета волосы. Про себя чертыхнулся, что слишком старается и опять походит на двадцатилетнего мальчишку — неловкого и неуверенного. Не чаявшего когда-то занять высокую должность и этот кабинет в доме №16 по набережной Фонтанки*.

И все же к моменту, когда дверь отворилась, он сумел взять себя в руки. Встретил гостью легкой улыбкой и по-настоящему светским поклоном:

— Лидия Гавриловна, весьма вам рад!

Прозвучало все же куда менее официально, чем он собирался произнести. Взялся за ее ручку, обтянутую лайковой перчаткой, но поцеловать не решился, только дружески пожал.

Она рассмеялась:

— И я вам рада, Степан Егорович. Очень соскучилась по вам, очень!

Лидия Гавриловна коснулась его плеча, потом потянулась и легко поцеловала в щеку. Они немало пережили когда-то вместе, и, пожалуй, это было уместно. Но все же Кошкин почувствовал, как к месту поцелуя приливает кровь.

* Здание Департамента полиции в Санкт-Петербурге (*здесь и далее прим. авт.*).

— Присаживайтесь, Лидия Гавриловна, чаю? — вновь засуетился Кошкин. — Или... право, стоит пригласить даму, о которой вы говорили? Негоже заставлять ждать в приемной.

— Та дама приедет позже. Я пригласила ее с таким расчетом, чтобы прежде успеть поговорить с вами tête-à-tête. И да, от чая я не откажусь.

Лидия Гавриловна, не тушуясь, с интересом осматривалась в кабинете. Прошлась до окна, разглядывая корешки деловых папок в застекленных шкафах; стрельнула острым взглядом на стол с разложенными там государственными документами. Потом замерла над шахматной доской в углу и позволила себе замечание, что белому слону следует пойти на f5 — тогда, через три хода, он поставит мат черному королю.

— Белые — фигуры графа Шувалова, — мягко отозвался Кошкин. — Но я непременно передам ему вашу подсказку.

— О, так Платон Алексеевич заезжает к вам? В этом случае лучше подумайте, как спасти черного короля, — заметила Лидия Гавриловна, и то ли Кошкину показалось, то ли она и впрямь подмигнула ему.

Но потом наконец смирила свое любопытство и устроилась на софе, в зоне для посетителей справа от письменного стола. Как бы там ни было, волнение Кошкина спало. Нарочно, что ли, она повела себя столь беспардонно? Распорядившись о чае, Кошкин куда менее напряженным вернулся в кабинет и сел в кресло напротив. Спросил:

— О чем же вы хотели поговорить?

Он не сомневался, что последует некая деликатная просьба, — однако взгляд Лидии Гавриловны потеплел, и она просто сказала:

— О вас. Я наслышана о вышей ссылке в Екатеринбург, о ранении... обо всей этой ситуации со Светланой Дмитриевной.

Со Светланой Дмитриевной его гостья едва ли была знакома — и все же Кошкин был благодарен ей уже за то, что она называет ее по имени, а не «той женщиной» —

с холодком в голосе и явным осуждением, как все прочие и даже его мать.

— Если я или мой супруг сможем чем-то помочь, чтобы разрешить эту ситуацию, — с пылом продолжала Лидия Гавриловна, — вам стоит лишь сказать. И, разумеется, мы всегда рады принять вас со Светланой Дмитриевной в нашем доме. У Андрюши, моего сына, на будущей неделе именины: надеюсь, вы окажете нам часть.

— Сколько ему?

— Будет пять.

Лидия Гавриловна, поискав в ридикюле, тотчас предъявила семейную фотокарточку. Не слишком приветливый на вид, как всегда, ее супруг, Евгений Иванович, девчужка лети восьми, отчаянно похожая на Лидию Гавриловну, и мальчуган с бескозыркой на черных буйных кудрях и открытым живым взглядом. Кошкин невольно улыбнулся.

— Я имела неосторожность рассказать Андрюше, что вы служите в полиции, и теперь он о вас только и говорит. Уверен, что у вас чрезвычайно интересная служба!

— О да, — скептически отозвался Кошкин. Помрачнел еще больше, когда понял, что придется сказать: — Я буду рад поздравить вашего сына, однако не думаю, что сумею сделать это лично. Светлана Дмитриевна никуда не выезжает. По крайней мере, пока не будет оформлен ее развод.

Помрачнела и Лидия Гавриловна. Но твердо выразила надежду, что Светлана Дмитриевна передумает. Кошкин поблагодарил — и сказал уже искренне:

— Я бы не хотел подставлять вашу семью под удар. Вы и так много для меня сделали: я знаю о ваших письмах к Плутону Алексеевичу, о просьбах вызволить меня из Екатеринбургa. Он рассказывал, вы писали ему даже из Парижа.

— Жаль, что я узнала о вашей ссылке слишком поздно. Возможно, сумела бы повлиять на дядюшку еще прежде всей этой ужасной истории...

— Я благодарен вам безмерно! За все. — Кошкин почтительно склонил голову. Улыбнулся: — Но, боюсь, вы думаете о моем пребывании в Екатеринбурге куда хуже, чем оно было на самом деле.

— Подозреваю, что и вы думаете о моем пребывании в Париже лучше, чем оно было на самом деле.

— Что ж, очень может быть. До меня доходили слухи, что вы уже возвращались ненадолго летом тысяча восемьсот девяносто первого. Смею надеяться, в этот раз вы вернулись навсегда?

Лидия Гавриловна отвела взгляд и неопределенно дернула плечом. Кошкин понял, что затронул болезную тему. Вероятно, пребывание ее семьи в Париже и впрямь не было увеселительной поездкой. Но о подробностях, о делах ее мужа Кошкин спрашивать не решился: это были тайны совсем иного рода.

— Дядюшка пожелал увидеть Софью и Андрюшу, моих детей, в июне этого года, и выписал нас в Санкт-Петербург. Право, не думаю, что это надолго.

Кошкин кивнул. Он знал, что здоровье дяди Лидии Гавриловны, графа Шувалова, в начале этого года дало сбой, и худо было настолько, что тот поддался врачам и весеннее межсезонье провел в Крыму, на водах. Видимо, в том и крылась причина возвращения в Санкт-Петербург единственных его родных на этом свете.

— Мы живем там же, Степан Егорович, на Малой Морской, — продолжала Лидия Гавриловна, убирая фотокарточку в ридикюль и невзначай сверяясь с часами. — Евгений Иванович много работает, а я часто прогуливаюсь с детьми в Александровском саду и именно там познакомилась с дамою, о которой говорила вам прежде, — Александрой Васильевной Соболевой. Моя Софи такая непоседа, оглянуться не успеешь, как она заведет новое знакомство. На сей раз выбрала в подруги племянницу Александры Васильевны. Подружились и мы: Александра Васильевна — безмерно приятная дама. А в мае этого года в ее семье случилась беда. О том много писали в газетах, и до сих пор пишут — вы и сами, должно быть, наслышаны?

— Банкир Соболев, кажется? Да, я читал, разумеется, но, право, подробностей не знаю.

Лидия Гавриловна отнеслась с пониманием: этим летом у Кошкина и своих проблем было достаточно.

— Соболевы — семья богатая и чрезвычайно влиятельная, — пояснила она. — Купцы первой гильдии, банкиры и золотопромышленники. Конечно, о вопиющем убийстве матери Дениса Соболева газетчики еще не скоро забудут...

Лидию Гавриловну прервал стук в дверь секретаря Кошкина: посетительница, которую они так ждали, пришла минута в минуту.

— Я знаю, что полиция провела расследование, но все же Александра Васильевна хотела бы привести и свое. И спросила, не могу ли я посодействовать... Право, я ничего ей не обещала, решение оставила за вами. И осмелилась обратиться к вам только потому, что у Александры Васильевны и впрямь есть некоторые сведения, которыми она хочет поделиться именно с проверенным человеком — не со всей петербургской полицией. Я же сказала, что вам она может довериться всецело.

Кошкин был удивлен, что, пригласив посетительницу и представив их друг другу, Лидия Гавриловна участвовать в беседе отказалась. Распрощалась и ушла. Кошкин же на ее место на софе предложил сесть этой даме, Соболевой, и постарался сосредоточиться на разговоре.

* * *

Даме было около тридцати на вид. Может, больше, может, меньше — у женщин ее типа Кошкин всегда с трудом определял возраст. Худощавая, с острыми скулами, тонким, но крупным с горбинкой носом и копной черных кучерявых волос под маленькой скромной шляпкой. А еще с томными, выразительными глазами, по которым Кошкин всегда безошибочно узнавал представителей одной-единственной нации. Не очень-то уважаемой в Российской империи, но сам он, повидав к тридцати шести годам разных людей всяких сословий, давно уж знал, что по нации о качествах человека судить нужно в последнюю очередь.

Что же касается женщин, то их, будучи даже фактически несвободным мужчиной, Кошкин (не мог ничего с собой поделывать) оценивал по одному-единственному критерию. И Александра Васильевна была, прямо сказать,

женщиной невзрачной. Совершенно невзрачной. И ее невообразимо скромный наряд, черный и траурный, это только подчеркивал. Право, если бы не знал, что сия дама из банкиров Соболевых, принял бы ее за горничную в семье среднего достатка.

Манера себя держать, вести разговор и все больше смотреть в пол, лишь изредка поднимая свои большие темные глаза в поисках одобрения да поддержки, тоже не выдавала в ней принадлежности к семье банкиров.

Разве что речь ее была совершенно не похожей на разговор горничной: голосок оказался хоть и робким, но мелодичным и совершенно девичьим, а произношение — грамотным, обремененным непростыми словесными оборотами.

— Моя матушка много лет, еще до смерти папеньки, жила на нашей прежней даче, что на Черной речке, где Новая деревня, знаете? — Александра Васильевна подняла на него несмелый взгляд.

Кошкин машинально кивнул.

— Для летнего времяпрепровождения мой брат, Денис Васильевич, приобрел участок земли возле Терийок* и отстроил там прекрасный дом — но матушка в том доме никогда не бывала. Говорила, что любит старую дачу на Черной речке, что там ее сад и ее великолепные розы, которые в нашем северном климате буквально ни одного дня не смогут прожить без ее забот.

— Что же — ваша матушка сама ухаживала за розами? — изумился Кошкин.

— Да, матушка не чуралась возиться с землей — ей это нравилось. Но, конечно же, в ее распоряжении имелись и садовники... — Александра Васильевна в очередной раз поправила и без того аккуратную манжету на рукаве, потом одернула себя и, не зная, куда деть руки, в конце концов сжала их в замок — крепко, до натянутой ткани на костяшках пальцев. — Уже два года ей помогал молодой человек, пришлый, из финнов. Его имя Йоханнес Нурминен.

* *Терийоки* — дачный поселок в Выборгской губернии, с 1948 года — город Зеленогорск.

Ганс — как звала его матушка. Матушка всегда хвалила Ганса и отзывалась о нем очень тепло... Помогала деньгами, даже взяла в кухарки его сестру с больной дочкой, из жалости. Так вот, четыре месяца назад, в мае, маму... — Александра Васильевна еще крепче сцепила пальцы и ниже наклонила голову, говоря буквально через силу, — маму нашли мертвой в той злополучной усадьбе. Кто-то разбил ей голову, очень сильно ударил... она смогла убежать, спрятаться в подсобном помещении — в садовничкой. Закрылась там изнутри на все замки и... ждала помощи. Но помощь так и не пришла. Мой брат, Денис Васильевич, забеспокоился первым и поехал навестить матушку. И нашел ее уже мертвой. А на стене мама написала, кто это сделал.

— Она написала имя?

— Только первую букву имени — «Г». Дальше неразборчиво. Однако полиция, как только узнала про Ганса, тотчас решила, что она хотела написать его имя, но не успела.

Кошкин теперь удивился, почему сказанное Александрой Васильевной так сильно расходится с тем, что он об этом громком деле слышал. Он действительно не вникал в суть расследования, пока оно велось, но из того, что читал в газетах и слышал в кулуарах, было очевидно — полиция сыскала душегуба и никаких сомнений нет, что виновен именно он. По словам же этой невзрачной дамы выходило, что коллеги Кошкина схватили чуть ли не первого встречного. Что-то здесь не так. И Кошкин, признаться, гораздо более был склонен доверять своим коллегам, чем этой женщине.

— Надпись на стене — единственное доказательство против Ганса? — придиричиво спросил он.

И женщина явно очень нехотя выдавила:

— Нет. Кто-то забрал деньги, дорогие картины и ювелирные украшения из маминых комнат. И тогда полиция решила, что Ганс стал требовать у матушки денег, та отказала, и он ударил ее. А когда матушка убежала и заперлась, то Ганс якобы вошел в дом и ограбил его. Но это абсурд! — Александра Васильевна еще раз подняла на Кошкина гла-

за, в которых теперь стояли слезы. — Во-первых, я часто бывала у мамы, я знаю Ганса — он не позволил бы себе ничего подобного! Требовать... боже мой, только не он! А во-вторых, матушка никогда ему не отказывала прежде. Она и сладости раньше передавала малышке Эмме, его племяннице, и мои детские игрушки, и одежду! Отчего бы она вдруг отказала? Матушка не была алчной женщиной! Ну а в-третьих, я сама, своими глазами видела ту надпись на стене, и мне показалось — хотя вторая буква начертана крайне неразборчиво, а третья и вовсе не читаема, — что там явно значится «Гу», а не «Га». «Меня убил Гу...» — так написала матушка! И все же мои доводы полиция не услышала: Ганса схватили и арестовали. Скоро состоится слушание в суде, а потом... его повесят.

Александра Васильевна опять опустила глаза в пол, а ее пальцы, сцепленные в замок, мелко подрагивали.

— Вам жаль этого парня? — спросил Кошкин.

— Да, мне жаль его. Этот же вопрос мне задал следователь в ответ на мои многочисленные доводы, а после спросил с отвратительным снисхождением, замужем ли я.

Кошкин тотчас устыдился, потому как собирался задать точно такой же вопрос. Замужем Александра Васильевна, очевидно, не была, причем скорее ходила в девицах, чем во вдовах.

Смущаясь собственных слез и быстро их утирая, женщина вдруг начала говорить тверже и настойчивей:

— Но дело не в жалости или сочувствии! Я бы ни за что не явилась сюда, не отважилась бы еще раз пройти через все унижения — если б у меня не появились доказательства.

Не дав возразить, она тотчас раскрыла объемный ридикюль, скорее даже чемоданчик, стоявший у ее ног. Оттуда дама извлекла внушительную стопку толстых тетрадей — не ученических, а истинно девичьих, с разрисованными акварелью обложками и старательно выведенными вензелями — и придвинула их Кошкину через стол.

«Дневникъ Розы Бернштейнъ. Апрельъ — сентябрь 1866 годъ», — было выведено чернилами на обложке.

— Это дневники мамы, она вела их всю жизнь.

— Разве вашу матушку звали Роза Бернштейн? — усомнился Кошкин.

— Да... то есть, чтобы выйти за отца, матушка приняла православие и сменила имя: по закону она звалась, разумеется, Аллой Яковлевной Соболевой. Однако дома ее по-прежнему звали Розой. А сама она представлялась чаще девичьей фамилией — говорила, что по старой памяти...

Объяснение показалось Кошкину странным, да и сама Алла-Роза удивляла все больше. Но опомниться ее дочка времени не дала: Александра Васильевна говорила теперь быстро и неожиданно напористо:

— Здесь не все дневники, а только те, что я успела перевести: мама... не получила должного образования, она неважно знала русский и писала на странной для вас смеси русского и идиша с некоторыми употреблениями иврита. Матушка была с детства крещеной лютеранкой, как и мой дед, Яков Бернштейн. Однако воспитание и образование ее было домашним, и учила ее по большей части моя бабушка — а она иудейка. — Александра Васильевна снова ниже наклонила голову, будто в самом деле боялась осуждения. — Словом, я сочла за лучшее поверх текста добавить перевод. Старалась писать как можно разборчивей, но, если вы не сможете прочесть что-то, выписывайте на отдельный лист, при следующей встрече я все поясню.

— При следующей встрече?..

Кошкин с замешательством глядел на стопку тетрадей, только теперь осознав, что эта женщина пытается заставить его прочесть их все...

— Да, мне нужно будет передать вам остальные дневники — их примерно столько же. Если, разумеется, вы не против взяться за это дело... — Александра Васильевна сникла, тонко угадав его настрой. Голос ее вновь стал робким и несмелым: — Лидия Гавриловна предупредила, что вы можете отказаться, и, разумеется, настаивать я не посмею. Но, молю вас, Степан Егорович, прежде чем отказываться, прочтите записи мамы! Я прочла их все — и пришла в ужас... В дневниках имеются некоторые компроме-